

Купарашвили Мзия Джемаловна

доктор философских наук, профессор,
 профессор кафедры философии
 Омского государственного университета
 им. Ф.М. Достоевского

ИСТОРИЯ КАК РИТОРИКА. ВЕРСИЯ ХЕЙДЕНА УАЙТА

Аннотация:

Начиная с модерна, наши представления о прошлом стали базироваться не на фактах, установленных опытом, а на том стиле языка, который непосредственно используется летописцем и историком. Во второй половине XX в. подобный подход к истории вполне укладывается в новомодный «лингвистический поворот». Те метанаррации, которые придавали истории объективный, научный вид, в модерне утратили основания научной приемлемости и интеллектуальной привлекательности. Поэтому новая история описывается как не очень надежный (вообще неостребованное качество), но глубоко риторический дискурс, репрезентирующий прошлое через создание таких истинностных образов, которые лучше всего постигаются в качестве метафор реальности. Эмоциональные культуры чувствительного разума на языке метафор, переносов и коннотаций лишь легкая игра с поддельным (ложным) эффектом смыслообразования, который способен имитировать важность без обременения ответственностью.

Ключевые слова:

история, метаистория, «лингвистический поворот», наррация, риторика, этическая система ценностей, литературный дискурс, тропология, Хейден Уайт.

Kuparashvili Mziya Dzhemalovna

D.Phil., Professor,
 Philosophy Department,
 Dostoevsky Omsk State University

HISTORY AS RHETORIC. HAYDEN WHITE'S VERSION

Summary:

Since the modern era, the ideas about the past have no longer been based on the facts instead of the language style being directly used by the chronicler and historian. In the second half of the twentieth century, such an approach to dealing with history fitted into a newfangled linguistic turn. Metanarrative that made history objective and scientific lost ground for scientific acceptability and intellectual appeal in the modern era. Therefore, modern history is described as unreliable (generally unclaimed quality) but deep rhetorical discourse representing the past through the creation of true images that can be best understood as metaphors of reality. The emotional tricks of sensitive mind by means of figurative language, shifts, and connotations are just an easy game with a fake (bogus) effect of meaning-making which pretends to be important and assumes no responsibility.

Keywords:

history, metahistory, linguistic turn, narrative, rhetoric, ethical value system, literary discourse, tropology, Hayden White.

Сегодня история как наука нуждается в пристальном внимании со стороны философии, так как ее основания существенно дискредитированы. В 70-е гг. XX в. оформляется направление структурализма, которое возникает как проект реорганизации истории и обоснования весьма оригинального ее понимания. «Лингвистический поворот» предопределил специфику подходов к истории (Ролан Барт в истории культуры, Мишель Фуко в истории мысли, социальных установках и дискурсивных практиках, а Хейден Уайт в истории и историографии). Можно смело утверждать, что историческое познание эпохи является ее самосознанием. При последнем эпохальном сдвиге мы его потеряли. Под угрозой оказались не только предмет и методы истории, но и понимание историзма и научный статус истории. Отсюда утрата устойчивых ценностных систем, их крайняя релятивизация, хаос в мыслительной деятельности и кровавые беспорядки в социальной жизни. Однако необходимо отметить и то, что грандиозный сдвиг сделал очевидными неубедительность и неказистость наличной науки истории. Ее основания, методы, критерии показали свою неустойчивость и крайнюю уязвимость и быстро рухнули под тяжестью критики. История – единственная дисциплина, где почти все зависит от человека, летописца, историка, от их честности и самоуважения. Никаких сторонних факторов искажения данности в истории нет.

Для начала важно отметить, что «структурализм рождается как интрига, стремясь развернуться как заранее готовое и в этом смысле а[на]хроническое повествование. Суть структуралистской интриги в том, чтобы предъявить нестановящуюся актуальность, именованной которой и выступает структура» [1, с. 88]. Анализ совершенно одиозного взгляда на современную интерпретацию философии истории нужно искать в программной работе позитивиста последнего поколения Хейдена Уайта (1928–2018) «Метаистория», которая вышла в 1973 г. и во многом предопределила специфику новых подходов к истории. В известном смысле работу можно квалифицировать как вершину структурализма, «последний его вздох» (Г. Иггерс), от которого расходятся резонансные круги.

По признанию самого автора, она не понравилась историкам, зато понравилась философам и литературоведам, так как то, что делает «Метаистория», заключается в деконструкции мифологии, так называемой науки истории [2, с. 29]. Для Уайта история как структура имеет пять компонентов, или уровней концептуализации исторических сочинений: хроника; история; тип построения сюжета [emplotment]; тип доказательства [argument]; тип идеологического подтекста [ideological implication]. Он отмечает, что использует «хронику» и «историю» для обозначения «примитивных элементов» в *историческом изложении*. Однако и та и другая представляют собой процесс отбора и расположения сведений из *необработанного исторического источника* в интересах преобразования этого источника в более понятный вид для определенного типа *аудитории* [3, с. 25]. Следовательно, для анализа «исторической поэтики» Уайт использует последние три (тип построения сюжета [emplotment]; тип доказательства [argument]; тип идеологического подтекста [ideological implication]).

Научное объяснение и идеологическая импликация составляют историографический стиль, или тропологическую модель (метафора, синекдоха, метонимия, ирония). Выбор тропа определяется индивидуальной языковой практикой историка, которая оформляет его нарратив. Нарратив есть способ организации восприятия мира субъектом, организации его опыта, однако он подчеркнуто антитеоретичен, так как «нарратив есть нечто, чему вы не обязаны учиться» [4, с. 31]. Тропы обеспечивают характеристику объектов в различных типах непрямого, или фигуративного, дискурса. Исторические события ставятся в зависимость от манеры изложения текста. Даже сама форма подачи материала становится более важной и говорящей, чем содержание исторического факта [5].

Так, для Уайта история – это форма словесного дискурса, которая обладает тенденцией оформляться в виде специфического сюжетного модуса (романс, трагедия, комедия, сатира). Это обстоятельство определяет отсутствие у истории научного статуса, так как любой историк, хочет он этого или нет, осознает это или нет, формирует собственный текст в строгом согласии с теми принципами риторики, которые господствуют в его эпоху. Исторические факты заменяются текстом, а основным предметом исследования становится литературная особенность текста, который отражает не действительность, а некоторую систему самопознания. Такое понимание истории позволяет принимать тропы Уайта в качестве спецификатора истории. В этом случае свобода историка ограничивается только выбранным тропом. Если историк выбирает один из них, то он выбирает стиль исторического изложения. Если он использует разные стили, то возникает ложь. Реализация тропов создает разные нарративы истории. Отсюда – релятивность. Так понятая история выглядит литературным жанром и рискует потерять объективность, стать вымышленным текстом, но для Уайта это не столь важно [6].

Уайт убежден, что в конце XX в. проблема заключается в том, как переобразовать, перефантазировать историю вне тех категорий, которые человек унаследовал от XIX в. [7, с. 56]. И это принципиально, так как он считает, «что этическое измерение исторического сочинения находит отражение в типе идеологического подтекста, которым эстетическое восприятие (построение сюжета) и когнитивная операция могут быть объединены так, чтобы выводить предписывающие утверждения из тех, что могут показаться чисто описательными или аналитическими. Историк может «объяснить» то, что произошло в историческом поле, идентифицируя закон (или законы), управляющий набором событий, преобразованных в сюжет истории как драма существенно Трагического значения. Или, наоборот, он может найти Трагический смысл истории, которую он построил в сюжете через установление «закона», управляющего порядком артикуляции сюжета. В любом случае моральный подтекст данного исторического доказательства должен быть выведен из тех отношений, которые историк считает существующими в рамках набора рассматриваемых событий, между, с одной стороны, сюжетной структурой повествовательной концептуализации, а с другой – формой доказательства, предложенного в качестве эксплицитно «научного»...» [8, с. 46–47].

Уайт не видит ни объективных, ни нравственных границ, которые могут повлиять на историка. Они не являются факторами, определяющими саму историю. Ложь, неадекватность, необъективность Уайт связывает только со смешением указанных стилей изложения. Столь формальный признак историчности обескураживает. Если это художественная литература, то как и чем она должна отличаться от истории? Если наличная история и может выглядеть как художественная литература, то это не означает, что история и должна быть литературой в собственном смысле и назначении. И не праздным кажется здесь вопрос: это история стала литературой или литература есть история? По мнению Йорна Рюзена, «обращение к метафоре, метонимии, синекдохе и иронии как к базовым принципам придания значения фактам при выстраивании их в нарративный порядок не разъясняет специфического исторического качества этого порядка» [9, с. 217].

Собственным методом изложения Уайта является формализм («Мой метод формалистичен»): «Почему? Да потому, что я так думаю, что никто никогда не давал формалистического

анализа исторического текста» [10, с. 35]. «Я рассматриваю свой проект как модернистский». «Я структуралист. Точнее – формалист и структуралист» [11, с. 46]. Он использует теорию тропов потому, что нарративное письмо не содержит логику. По его мнению, не существует нарратива, который когда-либо демонстрировал бы последовательную логическую дедукцию. Поэтому «следует прибегать или к альтернативной логике, или к логике нарративной композиции, которую можно отыскать в современной риторике» [12, с. 35–36]. Одна и та же часть прошлого пригодна для различных тропологических интерпретаций. Грамматики нарратива не существует. Для передачи некоторой исторической информации необходимо выбрать только подходящую риторику.

Фантазии и риторика понадобились для деконструкции и обеззначения существующей истории. При этом Уайт не только не предлагает иные, более объективные или уместные принципы постижения и оценки прошлого, но и считает их отсутствие частью нового проекта. Ведь тропология организует нарратив, т. е. способ изложения, несколько не заботясь о важности, истинности или правдивости повествования. Ему возражали: холокост нельзя интерпретировать иронически или сатирически [13, с. 124]. Или, как об этом отзывается Иггерс, «конечно, исторические исследования не могут получить дефинитивную выраженность и быть транслированы без всякого изменения будущими поколениями. Но их необходимо сформулировать в базисных терминах: если мы демонтируем границу между фактом и фикцией и приравняем историю к вымыслу, то как мы можем защитить себя от заблуждения, что холокоста никогда не было? Как еврей, который едва-едва избежал холокоста, я очень хорошо знаю, что это такое» [14, с. 165].

Вопросы: что теряет человечность, интерпретируя в ироническом дискурсе холокост или Хиросиму? Какие художественные и риторические принципы могут передать истинное (здесь человеческое) их значение и их оценку как фактов истории? И как можно оценить сам факт оценки этой истории? Ответы: «Тропология используется потому, что мы нуждаемся в теории отклонения, в систематической девиации от логических ожиданий. Именно поэтому я обращаюсь к теориям риторики: я думаю, что риторика предусматривает теорию импровизационного дискурса» [15, с. 37]. Уайт настойчиво лоббирует необходимость присутствия риторики в истории, открывая широкую дорогу релятивизму целей и ценностей в истории как науке: «Со времен Платона философы утверждают, что риторика подозрительна, действенна, искусственна и только логика естественна. Это смешотворно! Платон был настроен против софистов потому, что был идеалистом, верящим в абсолютные истины. А риторика основывалась на материалистической по-настоящему концепции жизни; она скептична. Горгий и Протагор обнаружили, что нет такой вещи, как единственный правильный способ говорения о мире и способ его репрезентации, поскольку язык произволен в его отношении к миру, о котором он говорит. Истинна ли речь, правильна ли она, правдива ли она, – зависит от того, кто обладает властью определять это. Потому риторика есть теория политики дискурса, по моим представлениям. Она утверждает, что дискурс вырабатывается в конфликтах между людьми. Те, кто определяют, кто будет обладать властью, правом и авторитетом, те определяют и то, какая речь правильна; те, кто пытаются именовать правильную речь – другими словами, узаконить ее, – сами всегда авторитарны, начиная с Платона. Риторика знают, что значение всегда производится; истину не находят, а создают» [16, с. 37–38]. Цитата настолько откровенная и прозрачная в своих одиозных утверждениях, что можно оставить без комментариев. Исходя из нее, однозначно определяются и другие мысли Уайта: форма репрезентации есть часть содержания [17, с. 39]; отношение между истиной и ошибкой не есть отношения или-или [18, с. 43]; главное, чтобы был проект, который интересен, и не важно, как именно он сделан [19, с. 45].

На самом деле, нельзя быть формалистом, структуралистом и искать смысл в алогичности риторики, так как нелогичная форма или структура – нелепость, невозможность. Они могут быть бессмысленными, но никак не алогичными. Понятно, что теория тропов как раз нужна в качестве определенного способа осмысления и координации между разрозненными частями нарратива, которые не подчиняются никаким логическим связям. Отсюда утверждения вроде «риторика во все неплохая вещь» и «все зависит от того, что понимать под риторикой». Все это – циничное желание во что бы то ни стало создать новый взгляд, размыть границы между смыслоносным и бессмысленным, между судьбоносными и ложными ценностями, оставив мысль без человеческого измерения. По причине наличия благодатной почвы «лингвистического поворота» идея производства значения быстро находит свою реализацию в историческом контексте. Более того, она начинает активно осваивать настоящее, разрушая последние опоры устойчивости человека в мире и в созданной им реальности. Эпоха заговорила о четвертой власти и с наступлением информационного общества уже в начале XXI в. бросила человека на зыбкую почву постправды.

За пределами человеческого интереса и значимости оказываются действительное положение вещей, страсть к истине и воля к познанию. Постправда – это дезориентация, дезинформация, недоверие, подозрительность, в конечном счете индифферентность и манипуляция мыслительной деятельностью человека. Возникают вопросы: с кем сегодня воюет постправда, если

средства «обороны» работают одинаково успешно на «своих» и на «чужих»? Где и кто внешний враг? Кого и что защищает постправда? Какие значимые значения она производит и есть ли адресат? Сегодня уже не удивляет слоган известного телеканала: «Мы делаем новости» или наличие толстого вузовского учебника для журналистов «Как делать новости». Все это общее место в мировоззрении дня. Появление феномена постправды Уайт может записать в свой актив.

После всего изложенного Уайтом возникает вопрос: да, мы «осюжечиваем» факты истории, но каково нравственное измерение этого сюжета? Общеизвестно, что любое художественное произведение стоит на страже нравственных идеалов. Чем ограничивается произвол нарратива в интерпретации исторических фактов? Уайт остается убежденным в собственных умозаключениях даже через 30 лет. Чарующие возможности формализации теории тропов срабатывают как инъекция от восприимчивости и сентиментальности и вносят в его рассуждения жесткие циничные нотки: «К генеалогии морали» Ницше говорит: “выдрессировать животное, смеющееся обещать...”. Красивая идея. Это и есть мораль. Ницше был тем важным для меня философом, который сказал: “Я изучаю этику с эстетической точки зрения”» [20, с. 51].

В конце XX в. возникает большое количество отдельных дискурсов, вышедших из тени официальной истории и свободных от бремени маргинальности. Прежде всего это дискурс «женского опыта», который разворачивается, с одной стороны, как история дискриминации по признаку пола, а с другой – как гендерология, которая предлагает артикуляцию глобального гендерного дисбаланса в совокупной истории человечества. Квир-сексуальные общества стали настойчиво навязывать уникальность «гомосексуального опыта». Опыт безумия становится демонстрацией подлинной свободы, искренности, эталоном незапрограммированности и даже источником креативности. Указанные формы опыта не обладают разработанным категориальным аппаратом, который мог бы обеспечить полноценный доступ к их анализу и описанию, поэтому их дискурсивность пока подозрительна.

Причем сам факт реабилитации маргинальных дискурсов имеет большее значение, чем желание разобраться с их истинным содержанием и убедиться в их безобидности. Вопрос, какова их энергетическая ценность для современного общества и будущего социума, вовсе не праздный, а жизненно необходимый, так как чаще всего их наличие работает не на созидание, а на уничтожение сущности человека. Одни дискурсы действительно обладают чрезвычайной важностью (к примеру, женский дискурс в разделе гендерологии проявляется в насущной необходимости сделать гендерный баланс нормой), а другие – скорее случайны или вовсе вредны (к примеру, гомосексуализм нормой делать нельзя). Однако на сегодняшний день они (дискурсы) свалены в одну неорганизованную кучу, и это играет в пользу незаконно расширенных дискурсов. Вместо того чтобы отделить зерна от плевел, мы объединяем их, видя только формальные сходства, мы заняты не их содержательным значением, а их риторическим потенциалом.

Безусловно, язык передачи и трансляции на понятный современнику лексике – важнейшая часть и познания, и мыслепроизводства, и понимания, и объяснения, и установления приоритетов, а потому вполне может выступить показателем состоятельности социума. Однако история как наука, да и как сказ (нарратив) специфицируется не этим, а содержанием факта (факт в истории – инстанция мысленосительная, смылесостоятельная). Смысломутация содержания как раз и обслуживается нарративом (пусть тропом), но способ передач и трансляции не может выхолащивать главное и выходить на первый план в историческом дискурсе. Это обеспечивается тем, что у каждого факта есть его основная мысль (то, что создает возможность увидеть, заметить и идентифицировать факт), вокруг которой только и возможна пермутация смыслов, что является объективной базой для естественной герменевтики. Однако, если мутированный смысл покидает зону притяжения мысли, он оказывается в свободном плавании в безмысленном пространстве, где нет ни ценности, ни ответственности, ни результативности, потому что основание всему этому – мысль. Отследить такой смысл возможно только по признакам внешней языковой конфигурации. Именно поэтому на первый план при анализе выходят формальность, метафоричность, риторичность, эстетический вид и структурность, которая пуста (в ее пределах возможно все и ничего). Другими словами, в оценке «свободного» смысла от его мыслепритяжения остается сосредоточиться на том, что смысл бессмысленного суждения в отсутствии в нем мысли. Собственно это тоже возможно, когда содержание меньше чем форма. Но это точно не относится к истории.

Если факты могут быть описаны по-разному, то это значит, что их ассортимент и интерпретация зависят исключительно от воли и желания кого-то (разные версии Второй мировой войны, история Павлика Морозова и т. д.). Отсутствие универсальных метанарраций, которые могут стать гарантом принятых значений фактов, достойных критериев значимости и необходимых аргументов против иных трактовок факта делает очевидным, что имеет место некоторая подгонка. И история здесь работает методом «осюжечивания», это и роднит ее с литературой.

Ревизия, которая обернулась подобным контекстом, сделала очевидной уродливость официальной истории: войны, революции, теракты, сплошной опыт насилия (опыт жертв концлагерей, жертв Хиросимы). Стало ясно: нужна альтернатива. Критический анализ единственной истории показал ее уязвимость, ангажированность, эгоистичность, завязанную на мужском шовинизме, непростительной незрелости ума, европейском снобизме и недоумии. По словам Й. Рюзена, «живя в XX в., мы знаем, что означает бессмысленность. Перед нашими глазами – в высшей степени негативный опыт бессмысленности в истории. Ядро этой бессмысленности – холокост, Аушвиц. Как нужно обращаться с этим опытом? Каким образом мы можем сохранить традиционные формы осмысленной наррации *vis-à-vis* этому историческому опыту? Это – тот главный вопрос, который я задаю самому себе. В своих попытках развить систематическую теорию исторических исследований я был глубоко вовлечен в экспликацию когнитивного механизма, который апеллирует к разуму в рассмотрении нашего отношения к прошлому. ...Но возникает проблема: как вписать негативный опыт холокоста в идею разума?» [21, с. 211–212].

Если отойти от «аристократической бессмысленности», можно увидеть более серьезные принципы и факты. Непредвзятое изложение событий, обличение низменных качеств человека, подведение итогов с учетом общечеловеческих ценностей вполне могли вписать постыдные страницы в идею разума. Наоборот, их отсутствие там было бы непростительной беспечностью и потому невозможно с точки зрения разума. Преднамеренное облагораживание, поиск оправдательных нюансов, незаконное расширение нравственных норм, ссыла на человеческие слабости и снисхождение к ним, т. е. все то, что в избытке имеется в нашей истории, оскорбляет инстанцию разума. Честная история должна описать истинное положение вещей в конкретной эпохе как раз для того, чтобы не разорвать вечную связь с разумом.

Отношение к истории как к совокупности событий и фактов, связанных с проявлением имманентной сущности человека, приобретает ключевое значение для определения будущего. Если наша история останется только историей войн и революций, превосходства маскулинности, принижения таких феминных ценностей, как забота и сопереживание, варварского отношения к среде обитания, то это приведет к вырожденческим проектам будущего. Отсюда наиважнейшая мысль: отсутствие духовно-интеллектуальной истории у человечества – самый опасный пункт при планировании ценностей грядущих эпох. В этом контексте необходимо отметить, что свое негативное влияние оказывают установка на описательность и риторическое отношение к историческим событиям, преднамеренная релятивизация принципов, нивелирование общечеловеческих, судьбоносных ценностей, выдаваемые за реализацию высшей ценности – свободы. Вместо того чтобы сделать приоритетными человеческие ценности, нравственный закон и примат зрелого ума (все это должно создавать контекст и рамки инновации, которая без них неуправляема), современные исследователи заняты «осюжечиванием» истории, посягая на лавры художественной литературы.

Польский профессор Ежи Топольски хорошо видит разницу между историческим и литературным нарративами. Историк не может вводить индивидуальные факты. Он не может преднамеренно вводить в нарратив фикцию. Эмпирическая основа в историческом нарративе обязательно должна быть «истинной». Другое их отличие относится к способу обращения со временем. В постмодернистском романе автор не беспокоится о хронологических координатах. Он свободно путешествует во времени. Историк же, напротив, всегда, даже в случае синхронного нарратива, должен реферировать к временным датам. Фактографическая основа для историка не вымышленна. Историк не может изобретать события. Беллетрист показывает становление истории, тогда как историк подотчетен истории [22, с. 190–192].

Так язык становится предметом анализа для исторической теории. Вербальный дубликат нашего отражения/осмысления/объяснения объективного мира становится единственной реальностью на том простом и естественном основании, что мир в собственной сущности и виде человеку не дан принципиально, что его видение во многом детерминировано физическими, морфологическими, биологическими и физиологическими характеристиками человека. Вся окружающая человека объективность воспринимается через них и получает материализацию в языке: «...то, что воспринимается как реальное, всегда немного воображаемо. К реальному нет прямого доступа. Оно достигается только через образ. Именно поэтому столь важна теория метафоры» [23, с. 57]. У людей нет прямого доступа к реальности, зато у человечества есть прямой доступ к своей сущности, к нравственным и духовным основаниям, которые сохраняют код человечности.

Современные средства датировки артефактов и профессиональный анализ совокупных источников могут дать максимально адекватные представления о прошлом. Причем эти представления могут постоянно улучшаться вместе с усовершенствованием средств датировки, обнаруженных новых источников и текстовых свидетельств эпохи. Это та необходимая коррекция истории, которая заявлена в пункте недогматичности науки. Основанием коррекции становятся все те же исторические данные, а не риторика, не форма или синтаксис. Несомненно, полная истина о прошлом через тексты и артефакты скорее невозможна, но это тот уровень истинности, которая нам

доступна объективно. Она имеет обоснованность и строгость хорошо аргументированного знания, а не сконструированный по законам вымышленного текста риторический характер.

Ссылки:

1. Ашкеров А.Ю. Метаистория метаистории, или Декодирование Хейдена Уайта // Социологическое обозрение. 2002. Т. 2, № 1. С. 86–99.
2. Хейден Уайт // Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М., 2010. С. 27–61.
3. Уайт Х. Метаистория: историческое воображение в Европе XIX в. Екатеринбург, 2002. 527 с.
4. Хейден Уайт. С. 31.
5. Clark E. *History, Theory, Text: Historians and the Linguistic Turn*. Cambridge (MA) ; L., 2004. 336 p.
6. Маликова М. Интервью с Хейденом Уайтом [Электронный ресурс] // Отечественные записки. 2006. № 2. URL: <http://www.strana-oz.ru/2006/2/intervyu-s-heydenom-uaytom> (дата обращения: 29.03.2019).
7. Хейден Уайт. С. 56.
8. Уайт Х. Указ. соч. С. 46–47.
9. Йорн Рюзен // Доманска Э. Указ. соч. С. 198–235.
10. Хейден Уайт. С. 35.
11. Там же. С. 46.
12. Там же. С. 35–36.
13. Франклин Анкерсмит // Доманска Э. Указ. соч. С. 102–147.
14. Георг Иггерс // Там же. С. 148–166.
15. Хейден Уайт. С. 37.
16. Там же. С. 37–38.
17. Там же. С. 39.
18. Там же. С. 43.
19. Там же. С. 45.
20. Там же. С. 51.
21. Йорн Рюзен. С. 211–212.
22. Ежи Топольски // Доманска Э. Указ. соч. С. 167–197.
23. Хейден Уайт. С. 57.

References:

- Ashkerov, AYu 2002, 'Metahistory of Metahistory, or Hayden White's Decoding', *Sotsiologicheskoye obozreniye*, vol. 2, no. 1, pp. 86-99, (in Russian).
- Clark, E 2004, *History, Theory, Text: Historians and the Linguistic Turn*, Cambridge (MA), London, 336 p.
- 'Franklin Ankersmit' 2010, in E Domańska, *Philosophy of History after Postmodernism*, Moscow, pp. 102-147, (in Russian).
- 'Georg Iggers' 2010, in E Domańska, *Philosophy of History after Postmodernism*, Moscow, pp. 148-166, (in Russian).
- 'Hayden White' 2010, in E Domańska, *Philosophy of History after Postmodernism*, Moscow, pp. 27-61, (in Russian).
- 'Jerzy Topolski' 2010, in E Domańska, *Philosophy of History after Postmodernism*, Moscow, pp. 167-197, (in Russian).
- 'Jörn Rüsen' 2010, in E Domańska, *Philosophy of History after Postmodernism*, Moscow, pp. 198-235, (in Russian).
- Malikova, M 2006, 'Interview with Hayden White', *Otechestvennyye zapiski*, no. 2, viewed 29 March 2019, <<http://www.strana-oz.ru/2006/2/intervyu-s-heydenom-uaytom>>, (in Russian).
- White, H 2002, *Metahistory: Historical Imagination in Europe in the 19th Century*, Ekaterinburg, 527 p., (in Russian).